



# Глава I

**М**ой сон нарушили кошачьи рыдания за окном. Отец лежал ко мне спиной, и я вдыхал кислый запах его грузного, волосатого тела. Он громко храпел, у него в горле клокотало, будто он пытался отхаркнуть комок мокроты. Я приподнялся и выглянул из-за отцовского плеча. На комодѣ, черневшем между кроватями отца и матери, коптила маленькая керосиновая лампа. На низком потолке краснел тусклый круг света, подрагивая в разорванной на куски темноте.

Латунные гири часов, наверно, остановились среди ночи. Одна гиря опустилась на крышку комода, другая повисла на полпути, словно культя.

Одинокй, далекий крик петуха, врезавшись в кошачьи рыдания, оповестил, что на улице занимается заря.

Окно с крестовиной чуть посветлело, и я отчетливо видел, что вторая, мамина, кровать не постелена, и на ней разлеглось большое черное пятно — брошенная второпях одежда.

Значит, мама до сих пор не вернулась из больницы.

Сегодня мама ушла туда сразу же, как только отец поужинал. Он сидел усталый и читал себе под нос благословения. Как только я, укутанный в сто одежек, вернулся из хедера<sup>1</sup>, мама поставила передо мной тарелку, завернулась в серую шерстяную шаль и убежала в больницу к своему любимчику Мойше — ее младшему сыну от первого брака.

Этот Мойше и правда был красавчик. Многие евреи, у которых дочери на выданье, положили на него глаз, сватов

---

1 Хедер — еврейская религиозная школа. — *Здесь и далее примеч. перев.*

присылали. Парень хоть куда — лицо круглое, что полная луна, румяные щеки с ямочками и аккуратный, изящный почерк. Мойше уже стукнуло восемнадцать. Он служил в магазине Исруэла Айнбиндера, сворачивал в рулоны обои, разрисованные цветами и птичками.

Этими цветами и птичками Мойше мог бы оклеить всю нашу узкую, длинную комнату с низким потолком.

Но ему, Мойше, больше нравилось гулять с девушками. Ходил в одежде, подбитой ветром. Домой возвращался поздно ночью. Ему отпирала Южа, дочка бондаря, она у нас в кухарках была и вообще маме по хозяйству помогала.

Кто же знал? Кому такое могло в голову прийти?

Но однажды утром Мойше не смог встать с постели. Тихо стонал и жаловался, что колет где-то там, в боку.

В нашей узкой, длинной комнате с низким потолком стали появляться незнакомые люди в очках. Южа каждый день мыла пол и помогала незнакомым людям снимать и надевать пальто.

Незнакомые люди приказывали Мойше глубоко дышать, простукивали пальцами его грудную клетку и оставляли нам исписанные клочки бумаги, с которыми мы бегали в аптеку и приносили оттуда пузырьки с разноцветными микстурами.

Мороз рисовал на оконных стеклах белые елки. Иногда рядом с ними возникало нечто похожее на корабль среди волн или на старичка в колпаке и с козлиной бородкой.

Помутневшим взглядом Мойше смотрел на морозные узоры. Его лицо похудело, щеки побледнели, под глазами легли коричневатые круги.

В комнате поселился удушливый, кисло-сладкий запах лекарств и пота. Мама забывала расчесать парик. За время, пока Мойше смотрел на морозные стекла, ее лицо

заострилось, на руках выступила голубоватая сеть веноч. Чернявая Южа ходила по дому босая, растрепанная и без конца молилась возле своей железной кровати на кухне.

Отец возвращался домой поздно вечером, смотрел сонными глазами и спрашивал больше носом, чем ртом:

— Ну, как Мойше, что поделывает?

Мойше ничего не поделывал, не мог. Вскоре пришлось отправить его в больницу.

И однажды, так, будто мимоходом, его увезли.

Отец, спрятавшись в углу, читал дневную молитву. По четырем морозным стеклышкам растеклась холодная синева, такая далекая, что напоминала о затонувших кораблях.

Мойше приподняли в кровати, подложили под спину подушку, укутали его маминой шерстяной шалью, натянули на него то самое пальто, в котором он простудился.

Мужик в желтом кожухе, мама и Южа втроем вывели Мойше на улицу. Вели потихоньку, шаг за шагом, будто двигали шкаф.

На улице все было синим: снег, дома, крыши.

Мойше положили в розвальни. Он вытянулся в них, как узкая снулая рыба, и уставил лицо в небеса. Мама села рядом, повернулась к нему, не замечая, что ее ноги касаются снега.

Несколько соседок, потирая замерзшие носы, вздохнули вслед:

— Дай Бог ему скорее выздороветь...

И сани заскользили по мягкому, синему снегу, оставляя на нем две глубокие борозды, словно раны на живом теле. Сани становились все меньше, сумерки — все синее.

В комнате после Мойше осталась незастеленная железная кровать с мятым, нагретым бельем. На полу валялись мокрые пучки соломы. Скланки на окне сбились

в кучу, наклонились друг к другу горлышками; перламутровая запонка Мойше выглядывала из-под стола, как белый, мертвый глаз.

\*

В больнице у Мойше откачали жидкость из легких, в боку выпилили по живому два ребра. Ему предоставили маленькую отдельную палату с двумя высокими белыми окнами. Обнаженное, в чем мать родила, дерево, воздевая ветви, заглядывало в палату через чистые, синеватые стекла.

Мама оставалась в больнице на ночь.

Дочка бондаря Южа раскалывала пару поленьев и через конфорку что есть мочи раздувала огонь в плите, но от стен еще тянуло тугим, темным холодом. Отец при слабом свете керосиновой лампы читал псалмы — и тут возвращалась мама. Входила молча, с красными после бессонной ночи глазами. И сразу ныряла головой под жестяной колпак, нависавший над плитой, как крестьянская шляпа. Там, спрятавшись, мама готовила отцу завтрак и там лила слезы в черные от копоти горшки, нечищенные со вчерашнего дня.

Отец, обмакнув в соль кусок хлеба, спрашивал из-за стола:

— Ну что, Фримет?

Мама втягивала голову в плечи и отвечала в потрескавшиеся горшки:

— Господь должен сжалиться.

Сегодня мама не пряталась под колпаком над плитой. Кошки за окном, наверно, устали плакать. Где-то в пустой темноте резко, надоедливо скреблась мышь. На кухне закрыхтела железная кровать Южи, но мышь не

прекратила возни. Тогда Южа, должно быть, взяла что-то тяжелое и запустила в непроглядную темноту.

Звонко треснул глиняный горшок. Я поджал ноги и придвинулся ближе к потной отцовской спине.

Вдруг раздался суматошный стук в дверь. Южа бросилась открывать. И сразу, как выбитая из бочки пробка, в дом влетел протяжный, долгий крик:

— Лейзерши! Лейзер, милый!..

И захлебнулся.

Отцовский храп оборвался, я рывком сел в кровати и увидел, что мама стоит посреди комнаты, качаясь из стороны в сторону. Вдруг мама схватилась за голову обеими руками и тут же уронила их устало и тяжело, будто почувствовав нестерпимую боль.

— Такой молодой, крепкий... — причитала мама, раскачиваясь.

Только теперь отец тоже сел в кровати.

— А? Что такое? — прозвучал в комнате его глухой, хриплый со сна голос.

— Покидает! — Мама распростерла руки, как на распятии. — Лейзер, милый, покидает он нас!

Рядом с мамой стояла Южа в длинной вышитой рубашке, растрепанная, как черная овечка, и царапала ногтями щеки, будто хотела вырвать кусок кожи.

Потом выкрутила фитиль. Красноватый, дрожащий круг на потолке расширился, вытаращился, как глаз. В комнату ворвался ветер. Я встал с кровати и начал одеваться. Отец, опустив на холодный пол бледные, синеватые ступни, искал онучи.

Оконные стекла медленно синели. Через синеву проступали незнакомые лица. Сгорбленная старушка в красном, засаленном ночном чепце тихо, мягко подошла и, наклонив голову, как спящая курица, заглянула маме

в глаза. В домашних туфлях на босу ногу прибежала горластая соседка с первого этажа.

Потом пришел рыжий Файвл со своим мятым жестяным бидоном, тот Файвл, который по утрам наливал нам кварту парного молока. Сегодня никто не вышел ему навстречу. За ним пришли еще две женщины, совсем незнакомые. Одна, высокая, прямая как палка, оглядывала комнату, будто кого-то здесь потеряла. Другая, похожая на учительницу, в железных очках и с двумя белыми лентами в волосах, протопала по полу, как у себя дома, и негромко обратилась к отцу, едва шевеля узкими губами.

Отец исподлобья посмотрел на нее сонными глазами, и его густая, черная борода понемногу ожила, зашевелилась.

— Да, сын Фримет, Мойше, — произнесла борода. — Мой пасынок.

Уже совсем рассвело, но лампу на комодe никто не погасил. Незнакомая женщина в очках показала пальцем на ходики:

— Часы-то стоят...<sup>1</sup>

В тот же миг распахнулась дверь, и в комнату вбежала тетя Мирьям: напряженно, плотно сжатые морщинистые губы, острый, красноватый носик. Тетя Мирьям всегда меня удивляла: всю жизнь она говорила тихо, а чаще всего вообще молчала, только моргала глазами. Она считала, что громко разговаривать — гойская манера, а евреи должны вести себя тихо и спокойно. Ведь прапра-мать Рахиль тоже была спокойная и, наверно, никогда не повышала голоса.

---

<sup>1</sup> Часы останавливают, когда соблюдают траур, поэтому остановившиеся часы считаются плохой приметой.

Сейчас тетушкино лицо было растерянным и испуганным. Крик, готовый сорваться с ее губ, замер в округлившись глазах.

Мама, сжавшись, сидела на табуретке. Спрятала лицо в ладонях, но почувствовала, что рядом кто-то из близких. Даже толком не разглядев, что это тетя Мирьям, она сорвалась с места и протянула к ней руки, запрокинув голову:

— Сестрица, родненькая, спаси сыночка моего!

И в тот же миг тетя Мирьям, будто заранее ждала от мамы именно этих слов, испустила жуткий, до костей пробирающий вопль.

Отец отвернулся и прижался лбом к оконному стеклу. Мамин плач шел уже не из горла, но из ее тяжелой, промерзшей одежды. Вдруг мама замерла посреди комнаты как оглушенная. Стало тихо. Мама смотрела по сторонам мокрыми, горячечными глазами.

— Фримет, Фримет! — дернулась к сестре тетя Мирьям.

Мама будто не услышала. Выпрямилась во весь рост — и не поверишь, что это она же минуту назад сидела сжавшись, такая маленькая.

В комнату набивалось все больше народу. Над головами витал тихий, сдерживаемый ужас.

Мама ринулась к платяному шкафу и распахнула обе дверцы, как открывают в синагоге ковчег со свитками Торы, не будь рядом помянут. И лишь тогда снова расплакалась.

— На что это все, если сын меня покидает? Берите, люди добрые! — Она выбрасывала из шкафа одежду Мойше. — Просите Бога за мое дитя! Чтоб Господь отменил суровый приговор!

Отец крепче прижался лбом к морозному стеклу. «Добрые люди» брали, не отказывались. Вскоре шкаф



опустел. И мама, держа перед собой руки, словно несла ребенка на обрезание, выбежала из комнаты.

Из открытого шкафа веяло черной пустотой. Отец отвернулся от окна и прикрутил фитиль лампы. Южа внезапно подошла ко мне, обняла полными, теплыми руками, шепнула по-польски:

— Бедный, бедный хлопчик!

Незнакомые люди стали расходиться. В комнате пахло отрыжкой из пустых желудков. Отец, как всегда по утрам, сел читать псалмы.

Разве что сегодня качался вперед-назад быстрее, чем обычно, да слова повторял по нескольку раз, жужжа, как муха на стекле, и его голова металась по низкому потолку, будто огромная, размазанная тень неведомой твари.

Но Господь не отменил сурового приговора. Мойше умер, не про нас будь сказано.

\*

Когда я прибежал к больнице, ее черные ворота были заперты. Двое долговязых, густобородых евреев препирались с каким-то мужиком. Несколько женщин стояли рядом, топали ногами, чтобы согреться. Кудлатый, облезлый пес принюхивался к длинным полам еврейских кафтанов.

Вскоре появился дядя Шмиль — муж тети Мирьям. Подошел к двум долговязым евреям, развел руками, утробно прогудел:

— Ты глянь-ка, все-таки умер! М-да...

Евреи повернулись, удивленно посмотрели на дядю Шмиля. Мне хотелось пнуть кудлатого, облезлого пса. Дядя Шмиль причмокнул жирными бледными губами и вдруг заметил меня:

— И ты здесь? Кто тебя звал?

Можно подумать, *его* звали. Чего ему с его утробным голосом вообще тут надо? Мечется перед запертыми черными воротами, сплевывает на снег, останавливает проезжие мужицкие телеги, мешки с зерном щупает, цену спрашивает, хотя в жизни зерном не торговал и знать не знает, как хлеб растет, в поле или в лесу на деревьях.

Позже медленно, тяжело ступая, подошел отец. И сразу же в дрожках подъехали тетя Нойма с дядей Бенциеном. Дядя Бенциен — маленький, круглый, пузатый — не мог вылезти, и тетя Нойма, женщина с изящными, благородными губами и аристократическим, умным лицом, подставила ему плечо. Опершись на него, дядя Бенциен кое-как выбрался из дрожек.

Постоял немного, попыхтел, выпятив живот, и наконец выдохнул через алые, сытые губы:

— Ты глянь-ка! Ну и холодина! Интересно, сколько градусов...

Никто не ответил. Облезлый, кудлатый пес обнюхал его калоши. Дядя Бенциен попятился:

— Отстань, чучело!

Пес покорно опустил голову и приковылял ко мне. Посмотрел добрыми, влажными глазами, грустно повилял хвостом. Наверно, если бы пес умел говорить, он спросил бы: «У тебя ведь брат умер. А почему же твой дядя-то так окоченел?»

Незаметно стемнело. Стая ворон поднялась и унеслась под облака. На шоссе лежал изрезанный санними полозьями снег, где-то черный, где-то синий, где-то розоватый. На крыльце корчмы, что стояла напротив больницы, две закутанные в шубы девушки громко разговаривали с согбенными тенями двух мужчин.

И вот черные ворота больницы открылись. Показались две устало кивающие лошадиные головы с двумя парами черных ушей. За длинными, неухоженными лошадиными хвостами тащились, качаясь, узкие черные дроги. Отец осторожно поддерживал их огромными руками. Мужчины, черные, быстрые, в страшноватого вида кафтанах, зашевелились, как разбуженные птицы. За ними, толкаясь и поправляя сползающие с плеч шали, побрели женщины. Мама и тетя Мирьям — сразу за мужчинами. Обе — запрокинув головы, будто им перерезали горло. Обе — с широко открытыми ртами. Последними ехали на дрожках тетя Нойма и дядя Бенциен.

Пес бежал рядом со мной, оборачиваясь на свои следы, и сердито порскал влажными ноздрями.

Незнакомая женщина наклонилась ко мне и мягко сказала, что мальчикам, у которых есть папа с мамой, ходить на кладбище не положено.

Я дошел только до Трех Деревьев, это было полпути. Дроги и провожающие слились в одно большое черное пятно. Покачиваясь, оно удалялось по шоссе в сторону кладбища.

Домой я пошел один. Только чужой кудлатый пес путался у меня под ногами да обнюхивал собственные следы.

До нашей двери он добежал раньше меня и остановился. Неужели знал, что я здесь живу? Выходит, знал, раз так уши наострил.

Я тоже остановился, наклонился и прокричал ему прямо в ухо:

— Как тебя звать? Бурек?

Пес помотал головой. Отказался от слишком простого имени.

Я стал перебирать собачьи клички:

— Лапа, Букет...

«Нет», — мотал головой пес.

Я замерз. Тяжелое пальто оттягивало плечи. Я крикнул на прощанье в острое собачье ухо:

— Спокойной ночи, песик!

Он понюхал свои следы, разлегся на снегу и вытянул лапы к нашей двери.

\*

Дома была только Южа. Сидела на кухне за маленьким столиком, уперев в ладони подбородок, и, прищурившись, смотрела на огонек керосиновой лампы.

Когда я вошел, Южа уронила руки на столешницу и стремительно встала.

— Кончились похороны?

— Нет, еще не кончились.

— Ты не пошел?

— Только до Трех Деревьев.

— Есть хочешь?

— Нет, не хочу.

— Замерз небось? Иди сюда, садись.

Она взяла меня, как мешок ваты или пуха, и усадила рядом с собой. Обняла полными, теплыми руками и сказала прямо мне в рот:

— Сейчас согреешься хорошенько.

Она дышала на мои задубевшие пальцы, прикасалась к ним губами, растирала ладонями.

— Может, ляжешь?

Не помню, что я ей ответил, но она оставила меня на кухне и пошла в комнату постелить отцовскую кровать. Потом раздела меня, уложила и накрыла одеялом. Села у меня в ногах, как мама, когда я болел скарлатиной. Вдруг спросила:

- Скоро придут, не знаешь?
- Наверно, когда похороны кончатся.
- А когда они кончатся?
- Не знаю.

Она вышла на кухню.

Я слышал, как Южа возится там с замком входной двери.

В комнате уже стало совсем темно. Только из кухни тянулся узенький лучик света, переламываясь посередине.

Южа вернулась из кухни и снова села на кровать. Но теперь не в ногах. От нее веяло парным теплом, я ощущал нёбом его сладковатый вкус. Никогда не встречал, чтобы от человека так пахло.

— Ну что, согрелся? — Ее круглое лицо нависло надо мной.

— Почти. — Южин запах заливал мне горло и опускался ниже, в самое нутро.

— Сейчас... Сейчас тебе тепло будет...

Я услышал два глухих удара о пол. Наверно, Южа сбросила с ног сперва один башмак, потом второй.

— Сейчас, сейчас... — Ее дыхание стало хрипловатым, прерывистым.

Усталый, замерзший, я видел будто сквозь сон, как Южа снимает красную кофточку и расшнуровывает корсет. Шнурок не поддавался, наверно, запутался. Сопя, Южа бормотала в темноту:

— Пшякрев, холера...

Но это продолжалось недолго. Одеяло резко откинулось, и в тот же миг я почувствовал рядом Южино крупное, горячее тело.

У меня дух перехватило. Испуганный, не понимая, что происходит, я попытался отодвинуться к стенке.

— Поближе. — Южа не дала отодвинуться, притянула меня к себе. — Сейчас согреешься. Дай руки сюда. Ну как, тепло?

— Да.

— Голову положи мне на плечо. Вот так... Тепло тебе?

— Тепло.

Я вытянул ноги. В кровати было тесно. Непонятно почему. Я же постоянно сплю с отцом, и никогда тесно не бывает. Почему отцовское тело так не обжигает? И что вдруг случилось со мной? Может, это все из-за того, что ее теплые губы прижимаются к моему оочечневшему рту?

Не помню, как я заснул. Не слышал, когда Южа ушла. И не слышал, когда вернулись папа с мамой.

Когда я открыл глаза, отец уже сидел на кровати, вытянув ноги, и надевал сапоги. Мама, закутавшись в платок, сидела на скамеечке, очень низкой, как для ребенка, и раскачивалась из стороны в сторону. Южа колола на кухне дрова. Удары топора были сухие, быстрые, словно Южа вымещала на ком-то свой гнев.

Да, Южа. Что это было? Как она может уже колоть дрова? Сколько времени прошло, с тех пор как она меня согревала? По серым, давно не штукатуренным стенам разливался бледный, сонный свет.

Из масляного светильника на окне тянулся маленький синий огонек.

Отец натянул сапоги. Мятый, пожелтевший арбеканфес<sup>1</sup> топорщился у него на спине, как обрывок старинного пергаментного свитка.

---

<sup>1</sup> Арбеканфес — прямоугольная накидка с прорезью для головы и привязанными по углам кистями (цицес). Арбеканфес носят под верхней одеждой, чтобы выполнить заповедь (Числа, 15:37—41). Цицес привязывают также по углам талеса — молитвенного покрывала.

— Вставай! — повернулась ко мне отцовская борода. — Скоро молиться пора.

Он сунул руки в рукава старого, изношенного халата и вышел из комнаты.

Отсутствовал отец недолго. Вскоре вернулся и привел двух низеньких, худых евреев. Они удивленно озирались по сторонам. Отец оставил их в комнате и опять вышел на улицу. И так несколько раз — пока весь дом не стал полон непричесанных бород и холодных, будничных кафтанов.

От окна до стены и от стены до окна носилось торопливое, голодное бормотание. На комод, на шкаф переламывались осколки теней, забирались на потолок, будто комната была им слишком тесна.

Мама вместе со скамеечкой отодвинулась к печке. В дверях время от времени возникала Южа с поленом в руках. Спрятавшись между незнакомых евреев в холодных кафтанах, я боялся посмотреть туда, где она стояла. Цицес на талесах ползали по полу, как белые черви. Еврей с голодным голосом раскачивался над столом, громко выплевывая слово за словом.

Отец положил пятерню мне на плечо и указал бородой в молитвенник:

— На вот...

После молитвы люди стали расходиться, неприятно шаркая по полу тяжелыми сапогами. Возле маминой скамеечки задерживались, что-то негромко говорили.

В комнате висел влажный запах старой ваты и несвежей одежды. На столе валялись два талеса с пожелтевшими цицес. Отец не спеша разматывал жесткий ремешок филиakterий<sup>1</sup> на посиневшей от холода руке.

---

<sup>1</sup> Филиakterии — молитвенная принадлежность, черные коробочки кубической формы, в которые вложены листки пергамента с текстом из Торы.

Так продолжалось всю неделю, пока справляли траур. Мама почти не вставала со своей скамеечки. Дочка бондаря Южа, наколов немного дров и разведя под конфоркой огонь, усаживалась на такую же скамеечку и точь-в-точь как мама раскачивалась из стороны в сторону.

Тетушки, приходя по вечерам с утешениями, присаживались на минуту, как бедные родственницы, не раздевшись, слова не сказав. Вставали и, не попрощавшись, поводили плечами и расходились по домам, где никто не умер и траура не надо справлять.

Только дядюшки подавали голос. Один, дядя Шмиль, все махал руками, не мог простить Мойше, что тот умер; второй, дядя Бенциен, без конца потирал пухлые ладошки и высказывал претензии к Всевышнему:

— Ты глянь-ка! Что за зима в этом году! Уголь на вес золота! Говорю жене...

Но тут тетя Нойма, прикрыв кроткие глаза, нараспев тянула себе под нос:

— Бенциен, может, пойдем уже? А, Бенциен?..

---

Во время молитвы одна коробочка крепится кожаным ремешком на голове, другая на руке.



## Исчезнувшая жизнь

**И**ешуа Перле родился в 1888 году в небольшом польском городе Радоме. Семья была довольно бедной, отец будущего писателя Лейзер, выросший в деревне, зарабатывал на жизнь, продавая корм для лошадей. До двенадцати лет Иешуа учился в хедере, потом недолго служил в мануфактурном магазине, стал учеником слесаря, но вскоре сбежал из мастерской. Мать, которая очень хотела, чтобы ее сын «стал человеком», не пожалела накопленных денег, наняла учителей, и за два года способный и старательный Иешуа усвоил программу четырех классов гимназии. В 1905 году он переехал в Варшаву, в то время важнейший центр еврейской культуры и один из немногих крупных городов Российской империи, где разрешалось селиться евреям. Там Перле поступил на службу в банк, но бухгалтерия мало интересовала молодого провинциала, приехавшего покорять еврейскую столицу. С шестнадцати лет Иешуа Перле сочинял стихи на русском языке, а в 1908 году написал на идише рассказ «Суббота», который предложил газете «Гайнт». Газета отвергла рассказ, но он был напечатан в сборнике «Новый дух», изданном под редакцией известного литератора Ноеха Прилуцкого, с которым Перле успел познакомиться и сдружиться. С тех пор он остался верен родному языку на всю жизнь.

Рассказы, очерки и критические статьи Перле публиковались чуть ли не во всех еврейских периодических изданиях Польши. Особенно плодотворно он сотрудничал с газетой «Момент», где какое-то время ради заработка анонимно печатал «романы с продолжением». Для

этих романов он даже не посчитал нужным придумать себе псевдоним: вместо имени автора стояли три звездочки. Сочинением подобных опусов, которые теперь называют массовой литературой, а тогда без обиняков называли бульварной, не брезговали многие талантливые еврейские писатели, но им это сходило с рук. На Перле же обрушился целый шквал критики. Слова «три звездочки» даже стали ругательством, обозначением графомана. Стараясь не обращать внимания на нападки, Перле продолжал заниматься литературной поденщиной, но все же оставил ее, когда писатель Йосеф Опатошу со свойственной ему прямоотой заявил в одном интервью, что среди одаренных еврейских литераторов попадаются гниды, которые плодят бульварщину.

В 1937 году вступив в Бунд, Перле стал постоянным сотрудником варшавской бундовской газеты «Фолксцайтунг», в которой печатал как художественную прозу, так и, под разными псевдонимами, полемические статьи.

Занимался Перле и переводами с польского на идиш. Одна из его наиболее значительных переводческих работ — повесть Януша Корчака «Мошки, Иоськи и Срули»<sup>1</sup>.

С начала двадцатых годов стали выходить книги: роман «Мирл», посвященный жене писателя Суре, в 1926 году совершившей самоубийство; написанная белым стихом поэма «В стране, где течет Висла»; сборники новелл «Под солнцем», «Грех», «В девять утра».

Ранние произведения Перле зачастую подвергались резкой, но вполне обоснованной критике: его считали эпигоном очень популярных в те годы Шолома Аша

---

1 В другом русском переводе — «Лето в Михалувке».

и Ицхока-Меера Вайсенберга, обвиняли в излишней сентиментальности, его язык находили вялым и невыразительным, но при этом несвободным от диалектизмов. Впрочем, для современного еврейского читателя последнее является скорее достоинством, чем недостатком.

Настоящая слава пришла к Перле только в 1935 году, когда впервые была издана книга «Евреи как евреи». Что это — повесть, роман? Автор назвал свое произведение книгой об исчезнувшей жизни. Мир еврейских местечек и маленьких провинциальных городков канул в прошлое еще задолго до Второй мировой войны, оставшись только на книжных страницах. Спокойно, отстраненно, без прикрас Перле изображает город своего детства. Скучная, безрадостная жизнь и... смерть, с которой и начинается повествование. Смерть — что-то простое и обыденное. Да, несчастье, но куда денешься? Даже главный герой, двенадцатилетний Мендл, чуть не погиб на улице, когда всего лишь шел к тетке. Ничего особенного, все там будем. Есть вещи и похуже, например то, что случилось с сестрой Мендла Тойбой. Ведь смерть — это только несчастье, а внебрачная связь — это и несчастье, и позор. Но, если присмотреться, не так эта жизнь однообразна, как кажется. Мир героя потихоньку раздвигает свои границы. Приходят первые сексуальные переживания, связанные со страхом и чувством вины. Появляются новые люди: сперва многочисленные единокровные и единоутробные братья и сестры, прежде знакомые только по фотографиям на комод, потом соседи по двору в переулке возле тюрьмы, учителя и одноклассники в новой школе, странный, пугающий друг и непредсказуемая, непонятная девушка. Можно, конечно, попытаться что-то изменить, как его родственник Мордхе-Мендл. И уже, кажется, получилось, но нет, не стать бедному еврею помещиком.

От судьбы не уйдешь, остается только умереть. Или, как мать Мендла, вздыхать о латунных дверных ручках. Латунные ручки — навсегда утраченное счастье.

Жесткие натуралистичные описания в те годы уже не были для еврейской литературы новаторством, ими трудно было кого-нибудь удивить. Но в книге есть и великолепные картины природы, любовь к которой Перле унаследовал от отца, есть изображения деревенской жизни и еврейского городского быта, яркие, сочные портреты, неожиданные сравнения и метафоры. Есть и юмор, как же без этого? Но, пожалуй, самая сильная сторона книги — ее предельная, даже безжалостная искренность. «За какое-то время до того, как он начал писать своих “Евреев”, он рассказал мне, какое огромное впечатление произвела на него автобиографическая трилогия Максима Горького (“Детство”, “В людях”, “Мои университеты”). “Понимаете, — говорил он мне, — человек перед всем миром догола разделся; рассказал все честно, как есть, даже отца с матерью не пощадил. Вот что значит великий писатель!” Следуя этому методу, Перле изобразил свое детство и юношеские годы...» — написал в 1948 году в предисловии к посмертному изданию Перле его друг Лео Финкельштейн<sup>1</sup>.

После издания этой книги ни один даже самый суровый критик не мог назвать Перле графоманом-подражателем с невыразительным провинциальным языком. Книга, удостоенная премий Бунда и Еврейского пен-клуба в Польше, повторно вышла там же, в Варшаве, в 1937 году. В 1937–1939 годах было издано продолжение, роман в двух частях «Золотая пава». Третья часть автобиографической

---

<sup>1</sup> Финкельштейн Л. Иешуа Перле // Перле И. Йидн фун а ганц йор. Тель-Авив: И.-Л. Перец-фарлаг, 1990. З. IX-X. (Перевод с идиша мой. — И. Н.)

эпопеи, роман «Закоулки», печатался в 1938–1939 годах в газете «Фолксдайтунг», книгой не издан до сих пор.

Многое из задуманного писатель осуществить не успел. В сентябре 1939 года, когда нацистская армия подошла к Варшаве, Перле бежал в занятый советскими войсками Львов, напечатал в Киеве фрагменты своего произведения о еврейских беженцах «Шоссе». В 1941-м, когда Львов был оккупирован нацистами, Перле нелегально вернулся в Варшаву. До 1942 года находился в Варшавском гетто, где работал в мастерской. Неожиданно ему, казалось бы, улыбнулась удача: писателю и его сыну удалось получить иностранные паспорта и разрешение покинуть Польшу. Однако уехать они не успели. Вскоре паспорта были аннулированы, и Перле «на время» отправили в лагерь Бельзен-Берген. 21 октября 1943 года Иешуа Перле был переведен в Биркенау, где вскоре погиб.

Даже в гетто писатель не прекращал литературной деятельности. В Архиве Рингельблюма<sup>1</sup> были обнаружены его произведения, два из которых, роман о Катастрофе «Наш скудный хлеб» и фельетон о находящейся в гетто мастерской, где работал Перле, были опубликованы в 1951 и 1955 годах.

В 1951 году книга об исчезнувшей жизни «Евреи как евреи» была издана на идише в Буэнос-Айресе, в 1990 году — в Тель-Авиве. На русский язык переведена впервые.

*Исроэл Некрасов*

---

<sup>1</sup> Группа узников Варшавского гетто «Ойнег шабес» («Радость субботы»), созданная еврейским историком Эммануэлем Рингельблюмом (1900–1944), в 1940–1943 гг. собирала и прятала документы о жизни в гетто, обнаруженные после освобождения Варшавы. Найденные документы получили название Архив Рингельблюма. Почти все члены группы погибли при ликвидации гетто.

## Оглавление

Глава I .....	5
Глава II .....	20
Глава III .....	29
Глава IV .....	37
Глава V .....	46
Глава VI .....	57
Глава VII .....	71
Глава VIII .....	82
Глава IX .....	98
Глава X .....	109
Глава XI .....	120
Глава XII .....	137
Глава XIII .....	149
Глава XIV .....	177
Глава XV .....	194
Глава XVI .....	201
Глава XVII .....	209
Глава XVIII .....	223
Глава XIX .....	228
Глава XX .....	241
Глава XXI .....	252
Глава XXII .....	262
Глава XXIII .....	272
Глава XXIV .....	282
Глава XXV .....	297
Глава XXVI .....	307
Глава XXVII .....	323
Глава XXVIII .....	330

Глава XXIX .....	343
Глава XXX .....	350
Глава XXXI .....	364
Глава XXXII .....	372
Глава XXXIII .....	380
<i>Исроэл Некрасов. Исчезнувшая жизнь</i> .....	387